

Что он натворил,  
Будь у него такой же повод к мести,  
Как у меня?

*У. Шекспир. Гамлет*

Все, что делается из любви,  
совершается всегда  
по ту сторону добра и зла.

*Ф. Ницше*

# 1

Ее не должно было быть. Если мир основан на справедливости, если у мира есть Бог, ее не должно было быть. Но она — есть. Ручки, ножки, платице в горошек, розовые сандалики. Здоровая и жизнерадостна. Бежит за мячиком. Мяч величиной с кулак весело катится по пыльной дорожке, подкатывает к тяжелым ботинкам Германа. Герман останавливает добычу ногой, надавливает, крепко прижимает к земле. Красно-синий мячик почти полностью скрывается под толстой подошвой ботинка. Герман жмет сильнее, надеясь, что мяч лопнет, разлетится на рваные кусочки.

Девочка подбегает к Герману. Протягивает ручки за своей игрушкой, улыбается, ждет. Лет трех. Глаза чуть припухлые, глубоко посаженные,

## Ева

серые, умные. Вытянутое личико. Дитя убийц. В нетерпении девочка приседает на корточки и пытается вытащить мячик из-под ботинка Германа. Дергает изо всех силенок. Если опустить ботинок на бледный паучок кисти, то суставчики хрустнут и ладонка превратится в тряпочку. Нет, это выше его сил!

Герман бросает взгляд сквозь куст сирени на мужчину и женщину, весело болтающих возле черной *BMW*. Ломакины и не подозревают, что если бы они первыми выбрались из машины, то уже лежали бы на земле с простреленными лбами. Но первой выскочила девчонка со своим мячиком. Герман отталкивает девочку, хватая мяч и выбегает из двора.

Пока он добирается до дома, грозовая мгла окутывает город дымчатыми сетями. Герман тянет на себя раскаленную ручку входной двери, ныряет в пекло подъезда, пропеченного за несколько жарких дней. Поднимается, прихрамывая, на пятый этаж. За окнами лестничных площадок молнии вспарывают ткань лилового неба. Грохочет хоть и далеко, но уже почти непрерывно.

— Господи, господи, страсти какие, — бормочет старуха, выбрасывая мусор в змею мусоропровода. Оглушив притихший дом грохотом ржавой крышки, она крестится и ищет сопричастности в глазах Германа. Но Герману наплевать на грозу, наплевать на старуху. Он должен быть сейчас в милиции, а Ломакины — лежать в черных пластиковых мешках. Гроза, как финальный аккорд,

как одобрение свыше, тогда пришлось бы кстати. Но теперь ей стоило бы отменить свой театральный выход. Месть не удалась. Герман не предусмотрел, что Ломакины заведут ребенка.

Зажав под мышкой мячик, Герман вставляет ключ в замок, поворачивает. Квартира пуста, стерильна. Вчера, 28 мая 2003 года, он убрал все следы своей и Евиной жизни, не желая, чтобы в них копались следователи, или кого они там присылают. Что-то сжег в лесу, что-то раздал, что-то выбросил.

Старый паркет скрипит под тяжелыми ботинками. Герман проходит в комнату Евы, останавливается посередине. Он не рассчитывал, что сегодня вернется. Что вообще вернется. Мячик разьедает ладонь — новенький, еще с этикеткой, он остро и терпко пахнет детством, счастьем. Герман швыряет мяч в угол, ложится, вдавливая затылок в прогретый за день пол, чистый, как в операционной, после вчерашней уборки.

Верхушка ивы за окном приходит в движение, бьется в припадке, давится эпилептической пеной листвы, то открывая, то закрывая силуэт Останкинской телебашни. Обрушившийся в одно мгновение ливень штурмует дребезжащее оконное стекло, снова и снова стреляет дождевыми пулями, которые разбиваются насмерть о стекло и безвольно стекают друг за другом на карниз. Гром камнепадом скатывается с неба по всем этажам дома, звук от каждого удара отдается в прижатом к паркету позвоночнике Германа.

## Ева

Герман вытаскивает пистолет из кармана и приставляет к виску. Молнии угодливо освещают сцену: платяной шкаф, диван и кресло с танцующими ножками, столик у окна и этажерка в углу. Выцветшие обои с яркими пятнами из-под исчезнувших картин, фотографий. Лампочка вместо люстры. Вешалки, полки и ящички в открытом шкафу пусты. Как и этажерка.

Вчера Герман действовал как машина с отлаженным, не знающим сбоя механизмом. Несколько часов он складывал в мешки вещи сестры, до которых четыре года не мог дотронуться. Джинсы, платья, белье, свитера, туфли (хранившие в кожаных складках и пятнах стелек запах Евы, разношенные, мягкие, со стоптанными немногими каблуками). Безделушки из поездок, подарки ее поклонников. Книги, кассеты, альбомы с фотографиями. Портрет, написанный влюбленным студентом-эвенком, — что-то размытое, темно-синее и вправду живо напоминающее Еву.

Портрет этот отлично пылал вчера в подмосковном лесу недалеко от Красногорска. Костер горел часов семь, целую рабочую смену, как какая-нибудь металлургическая печь. Плавил, жег, уничтожал прошлое Германа, то, что, собственно, и составляло его жизнь. Потом долго тлел на майском закате в нише оврага, устланного нежным ковром свежей травы. Полностью потух только на рассвете, когда соловьев сменили жаворонки.

Гром ударяет в соседней комнате. И она пуста. Свои вещи Герман тоже не мог бросить тут, как

беспомощных сирот, на долгие годы тюремного заключения. Уничтожил вместе с Евиными. Опустила и кухня: в шкафчиках не осталось ни чашек, из которых пила Ева, ни ложек, ни вилок, которых касались ее губы. Нет больше тарелок, хранивших фантомы тех солнечных дней, когда Ева ставила перед Германом дымящееся мясо, или нежную рыбу, или лимонный пирог. Ева готовила вкусно. Из ванной исчезли ее и его зубные щетки, расчески, шампуни. То, что не могло сгореть, Герман разбил, разломал, растоптал, превратил в бесформенные частицы. Он не мог позволить чужим рукам, глазам, носам, ботинкам трогать, касаться, вдыхать, как-то еще взаимодействовать с отголосками запаха, дыхания, смеха Евы. Вчера он разбил даже зеркала, чтобы уничтожить хранящиеся в них отражения сестры.

От Евы не осталось ничего. Только воспоминания. Лишь их он и мог взять с собой в тюрьму. Но тюрьма теперь отменялась.

Гроза уходит. Герман опускает пистолет, и тот глухо падает на пол. Голоса птиц вместе со стуком капель разносятся по обновленному чистому воздуху. Под окнами, радостно повизгивая тормозами, стартует машина. Горячая солнечная полоса прожигает живот Германа. Он поднимается и идет в свою комнату, разряжает пистолет, убирает его в ящик стола, где остались только документы и досье — на Олега и Ольгу. Солнце с любопытством читает надпись на папке, но Герман быстро задвигает ящик. Садится на диван.

## Ева

Вчера он выбросил даже плед, и теперь диван стыдливо обнажен — стертый синий велюр и очертания пружин, пытающиеся, как упрямые цыплята из скорлупы, вылупиться на свет. Сняв ортопедические ботинки, Герман стягивает промокшие носки. Правая ступня из-за детской травмы деформирована, испещрена давно зажившими шрамами. Он опускает распаренные ступни на пол, ожидая прохлады, однако ее нет, пол теплый.

Босиком (тапок больше нет) он идет в ванную, снимает пропотевший пиджак и рубашку. Других вещей, кроме этих, у него тоже нет: все сгорело вчера в очистительном пламени. Герман отвинчивает кран, пьет сначала медленно, а потом жадно, долго. Моет шею, лицо. Привычно поднимает голову, чтобы посмотреться в зеркало, но и его больше нет. Даже мыла нет, чтобы постирать рубашку и носки.

## 2

Убийцы Евы поселились в доме на Ленинградском проспекте. Первый этаж утыкан магазинами, ателье, ремонтными мастерскими, мимо них весь день вьется, течет шумная людская лента. Двор же, где Герман следит за Ломакиными, представляет собой мини-парк с дубами, кустами жасмина и увядающей сирени, на клумбах цветут тюльпаны, на скамейках весь день сидят пенсионеры и читают газеты. Ольга Ломакина любит выгуливать дочь по дорожкам двора.

Герман наблюдает за ней и девочкой в армейский бинокль из старого *Volkswagen Golf*. Ему пришлось взять кредит, чтобы обзавестись машиной и необходимыми вещами. Немного денег оставил на еду, бензин и сигареты. С работы пе-



## Ева

ред неудавшимся судным днем Герман уволился, поэтому условия кредита адские, но сейчас это обстоятельство не имеет значения. Ему нужно найти решение, что делать с Ломакиными. Время идет. Герман выяснил, что Ломакины вернулись из-за границы на несколько месяцев, а к зиме снова уедут в Италию.

Иногда к Ольге и девочке присоединяется Олег. Качает дочь на качелях, катает на трехколесном велосипеде. Время от времени они всей семьей уезжают гулять по городу. Бывает, катаются весь день на яхте на водохранилище под Москвой. Герман, как сторожевой пес, следует за ними повсюду.

17 июня Ломакины стоят в очереди в кассу зоопарка. Ольга, в темно-синем платье в мелкий белый горошек, с тщательно, туго зачесанными вверх и уложенными во французский пучок пестрыми волосами, держит Олега под руку. Рядом с ним она кажется миниатюрной. На Ломакине джинсы, белая рубашка, ботинки размера пятидесятого, не меньше. За четыре года, пока Герман не видел Ломакина, тот будто еще вырос и раздался в плечах. Он выше всех в очереди. Девочка (джинсовые шорты, футболка) сидит на правой руке отца, жмет к нему и что-то шепчет в ухо, под бейсболку, прикрывающую лысую голову. Постукивает отцу в бок туфлей с застёжкой в виде зеленой стрекозы, радужно переливающейся на солнце первоначального лета. Девочка неприятно похожа на Ломакина, такие же серые

глубоко посаженные глаза, то же вытянутое лицо.

Внезапно пульсирующая темнота заливает все пространство в голове Германа, остаются только звуки — глухие, почти без перерывов удары в ушах. Герман ощупывает выпуклость пистолета Макарова под вельветом пиджака. Медленно считает до десяти, не позволяя вспышке ярости разрастись. Не время, не сейчас. От пиджака, купленного в секонд-хенде, несет специфическим дезинфицирующим запахом. Герман уже весь пропах этим запахом. Пиджак сорок шестого размера, самый маленький, какой он нашел, но все равно болтается на исхудавшем теле. Герман вытаскивает из кармана лист сирени, разрывает его и, продолжая считать, вдыхает острогорький освежающий запах. Минута, другая — и мир снова встает на место.

Девочке приглянулись утки. Ломакины остановились у пруда, расположенного недалеко от входа в зоопарк. Олег, продолжая держать девочку на руках, отламывает от булки кусочки, отдает дочери, а та сжимает их в кулачке и кидает уткам, шелестящим крыльями по воде навстречу угощению. Когда самая шустрая утка хватается кусок, девочка смеется, хлопает в ладоши. Ольга скучает рядом, поглядывает по сторонам. Возле ограждения пруда народу много, поэтому Герман, не боясь быть замеченным и узнанным, лишь немного не доходит до Ломакиных, занимает место между парой влюбленных и пожилыми супруга-

## Ева

ми в детских панамах. Пожилые супруги заняты тем, что сравнивают пары красных уток (огарей) с изображениями в старой толстой книге, которую держит старик, а влюбленные заняты друг другом. Герман делает вид, что заинтересован домиками уток, а сам наблюдает боковым зрением за Ломакиными.

Ольга что-то настойчиво говорит мужу и девочке. Говорит громко — до Германа долетают обрывки слов: *зьяны, лоны, еди*. Но девочка упрямится, она хочет кормить уток, а отец хочет радовать дочь. Он крепче обнимает ее хрупкое тельце, посмеивается, отбиваясь от жены, зовущей их дальше, и вытаскивает, словно фокусник, непонятно откуда еще одну булку. Девочка взвизгивает, вытирает ладошки о футболку и подставляет их под очередной кусочек.

Ольга, пожав плечами, отходит от ограждения и встает под дерево. Чуть повернувшись, Герман видит, как она, оглянувшись по сторонам, открывает сумочку, достает крошечную бутылку, грамм сто, не больше, и, улучив момент, когда муж и дочь восхищенно следят за взлетающей и ловящей в полете хлеб уткой, открывает крышку и быстро делает несколько глотков. Ловко убирает бутылочку назад в сумку. Потом вытаскивает двумя пальцами из кармана тесно прилегающего к телу платья пластинку жевательной резинки. Разворачивает, кладет в рот. Смотрит на небо. Расправив плечи, раскрасневшись и заметно повеселев, возвращается к мужу и дочке

и, к явной радости девочки, включается в кормление уток.

Германа разъедает запредельная неправильность происходящего. Словно самого факта счастливого времяпрепровождения убийц недостаточно, погода подбирает для них самые лучшие, самые совершенные из своих декораций. Июньский свет над прудом сияет, течет прозрачным медом, вода вспыхивает, отливает золотистыми стежками. Солнечные блики мягко дрожат на еще незагорелых руках девочки, бицепсах Олега и невыносимо изящных, затейливых, какой-то венецианский резьбы губах Ольги. Оперенье уток просматривается до самой тонкой волосинки. Солнечные пальцы путаются в волосах деревьев. Не холодно, не жарко — все то же солнце угодливо регулирует яркость, жар, поддерживает идеальное освещение этого дня.

Ноги Германа тяжелеют в ортопедических ботинках, от волнения и несправедливости начинает болеть сердце. Он решает пройти вперед и немного успокоиться. Когда Герман оказывается напротив Ломакиных, девочка как раз берет у отца кусочек булки, приподнимает голову и замечает Германа. Она смотрит на него просто и ясно, будто узнала, будто они давно знакомы и теперь она ничуть не удивлена увидеть его здесь. Герман поспешно отворачивается, ускоряет шаг и обгоняет двух женщин с колясками. Внезапно Герман понимает, что ему нужно сделать. *Он похитит девочку!*

## Ева

Да, он похитит девочку, а потом год за годом, чтобы даже не думали забыть, будет напоминать Ломакиным о дочери, которую они так горячо любят, — будет посылать то носочек, то кровавую маечку. Или как-нибудь еще напомним — над этим пунктом плана он поработает. Все оставшиеся годы Ломакины будут обречены страдать и мучиться, как обречен по их вине страдать и мучиться Герман.

Во власти охватившего его озарения Герман прибавляет шаг, огибает пруд по противоположной стороне и выходит из зоопарка. Садится в машину. Прежде чем тронуться, бросает взгляд на краснопресненскую высотку, расположенную недалеко от зоопарка. Больше десяти лет ее шпиль и башенки глядели в окно детской комнаты Германа. Эта высотка была его утешительницей, нянькой. Бессчетное количество раз мальчиком он хватался взглядом за нее, жаловался (ей одной, больше никому), а она с готовностью и любовью подставляла каменное плечо. Высотка учила Германа не сдаваться. Сейчас из машины видны нижние ярусы, бывший магазин, сливочного цвета скульптуры на ризалитах. Он едва заметным кивком приветствует высотку и заводит машину. На сегодня слежка окончена, пусть Ломакины развлекаются, недолго им осталось.